

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Георгий Бакланов

НАВЕКИ —

ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ



Школьная библиотека (Детская литература)

Григорий Бакланов

Навеки – девятнадцатилетние

Издательство «Детская литература»

1979

Бакланов Г. Я.

Навеки – девятнадцатилетние / Г. Я. Бакланов — Издательство «Детская литература», 1979 — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-004566-0

Писатель рассказывает о молодости своего поколения, о тех, кто прошел тяжкое испытание Великой Отечественной войной. Для старшего школьного возраста.

ISBN 978-5-08-004566-0

© Бакланов Г. Я., 1979
© Издательство «Детская литература», 1979

Содержание

Повесть-реквием	6
Навеки – девятнадцатилетние	9
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Григорий Яковлевич Бакланов
Навеки – девятнадцатилетние
Повесть



A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Baklanov'. The signature is written in a cursive style with a long, sweeping underline that extends to the right and then curves back up.

1923–2009

Повесть-реквием

Когда думаешь о каком-то произведении художника – в данном случае о повести Г. Бакланова «Навеки – девятнадцатилетние», – то мысль неизбежно обращается к первым вещам этого автора. Тем более что для меня они имели огромное значение и их влияние я ощущаю и сейчас.

Помню, что, когда я мучительно искал не то что форму своих будущих «Ржевских тетрадей» – не в форме, наверное, было дело, – я долго думал: как мне писать о пережитом?... То, что появлялось тогда в печати о войне, плохо соответствовало моему личному опыту. Война, о которой я хотел рассказать, происходила на небольшом пятачке, была не очень-то известной многим, к тому же трудной и безудачной. Как написать о ней? Бои местного значения... Безуспешные, но кровавые наши наступления, разведки с обеих сторон, минометные обстрелы, бомбежки, вражеские снайперы – и подразделения таяли вместе с мартовскими и апрельскими снегами; к маю, как сошли те, в ротах почти не осталось людей... Ну, как писать об этом?! А писать хотелось. Ржев держал меня уже за горло и не отпускал...

И вдруг «Пядь земли»!.. Читаю и думаю – пядь... пядь земли. Ведь как верно! Война для каждого из нас именно и происходила на «пяди». Один воевал на «пяди» Северо-Западного фронта, второй – Калининского, третий – Сталинградского, другой – Юго-Западного фронта, кто-то на «пяди» под Берлином. Может, так и сложилась вся война? Тем более что о *своей* войне каждый, наверное, может рассказать предельно правдиво, предельно искренно, не упустив ни одной мелочи, ни одной приметы того времени, потому что это была твоя «пядь», где ты оставил часть души и которая теперь уж в памяти навечно. Это твои три-четыре товарища, с которыми и из одного котелка пшенку, и один сухарь пополам, и одну сигарку слюнявишь, – *твоя война*...

И скажу прямо, баклановская «Пядь земли» была для меня тогда откровением. Я уже перестал сомневаться: а нужно ли мне писать о своей войне, заслуживает ли она этого? И показалось мне тогда, как, кстати, думается и сейчас, что вот из таких «пядей», из таких «малых» войн, может быть, и будет черпать будущий автор «Войны и мира». Лишь бы мы всё написали без утайки, все *как было*, не приукрашивая и не позабыв ничего... Скроем что-нибудь, умолчим – и подведем будущего Толстого полуправдой, которую невольно сможет повторить и он. А тогда не быть и «Войне и миру» о нашей Великой Отечественной войне. Не быть! И виноваты будем мы, непосредственные свидетели и участники, имевшие мужество воевать, но почему-то не нашедшие его, чтобы сказать об этой войне только правду, всю правду, и ничего, кроме правды.

В «Пяди земли» Бакланова была определенная смелость и дерзость: после «эпических полотен» вдруг «пядь», всего несколько действующих лиц, никаких особо эпохальных сражений, броских геройств, а у читателя (особенно воевавшего) сжимается сердце, его душит боль, потому что *так было* и все похоже на его собственную войну.

Не всем тогда это понравилось. Даже в фильме, который через несколько лет появился, стали кое-что «исправлять». Декоративные окопы сделали, укрепили, как положено, стенки досками, не подумав опрометчиво, что такая вот «мелочь» убивает правду... Где же, откуда в степи доски? Но в студийной мастерской их навалом – и сделали! Вот так иной раз мы и уходим от правды войны. А нам ли не помнить, сколько пришлось нашему поколению заплатить, прежде чем мы поняли и уразумели, что же такое настоящая война...

Я к тому говорю все это, что в повести «Навеки – девятнадцатилетние» Г. Бакланов остался верен себе: все в ней правда, густо замешанная на событиях, самим автором пережитых, прочувствованных...

Как ни странно, но о быте войны не так много написано. То ли потому, что не всеми «военными» писателями этот быт самолично испытан, то ли потому, что часто не придавалось ему значения. А он меж тем того стоит!.. Потому как вся война из этого быта и состояла. Сами бои составляли не главную часть жизни человека на войне. Быт был невероятно трудный, связанный и с лишениями, и с огромными физическими перегрузками.

Пока солдат доходил до «передка», он был уже измучен, вымотан ночными маршами, когда в грязь и распутицу, когда в мороз и метель, а придя на передовую, с ходу начинал копать окопы, землянки... И существовали в том быте детали вроде бы незначительные, но без которых тем не менее рассказ о войне оказывается неполон. Вот не довелось мне, например, нигде прочитать о такой, казалось бы, мелочи: где носил солдат-пехотинец капсюли от гранат?... Как малую саперную лопату приспособлял в атаках?... А носил он капсюли в левом кармане гимнастерки, а почему – прошу подумать и догадаться. А лопатку при атаке приспособлял так, чтобы защитить живот. Не велика железяка, а все-таки пуля вдруг и отрикошетит...

Так вот – о быте войны у Бакланова в этой повести сказано очень много и очень подробно. И это, думается, не случайно. Углубление военной прозы идет не только в плане психологическом, но и в более полном охвате самих тех условий, в которых человек жил и воевал. Это важно потому, что все эти мелочи быта, которые способен знать только воевавший человек, могут уйти. Их уже не восстановить потом писателю другого времени. Никогда!.. Да и нам, живущим сейчас в немыслимом для тех лет комфорте, которым даже трудно представить, как люди могли спать в снегу при двадцатиградусном морозе, спать не в спальном мешке, а в протертой шинелишке, полезно об этом вспомнить, а тем, кто не знает, узнать.

И в повести Бакланова мы месим грязь вместе с лейтенантом Третьяковым, спим кое-как и кое-где, хлебаем второпях похлебку, стоим под хлипким мостом, по которому проходят трактора с орудиями, мерзнем, мечемся под огнем, теряем товарищей, корчимся от боли в палатке медсанбата... Через все это проводит нас автор, заботясь лишь об одном – не упустить бы ничего из того, что пришлось испытать самому и его герою, не забыть ни одной мельчайшей подробности, потому что все это для него очень важно, потому что он пишет войну такой, какой она и была. И если бы в повести было только это, то и тогда она заслуживала бы нашего внимания, но есть в повести и другое...

Удивительно даже, что такая вот строгая, реалистичная вещь, лишенная всякой сентиментальности, вещь, вроде бы совершенно беспасфосная, в то же время обладает огромной эмоциональной силой: я, например, не помню ни одного произведения о войне – хотя в каждом из них мучились и погибали люди, – в котором было бы так ярко выражено чувство великой, непроходимой скорби о загубленных войной жизнях... Да, конечно, потери в войне неизбежны, порой необходимы, но, что скрывать, припоминаются и бесконечные бои за какие-нибудь высоты, деревеньки, бои заведомо обреченные, которые прибавили к потерям неизбежным потери, которых могло бы и не быть...

Русская классическая литература не боялась, а даже стремилась всегда вызвать у читателя жалость, сострадание к своим героям... И не одно поколение русских людей училось *сострадать* именно у наших классиков. Можно вспомнить целый ряд произведений, прочитанных еще в детстве, которые на всю жизнь дали заряд доброты. Так, не прочитав, быть может, тургеневскую «Муму», многие из нас что-то потеряли в своей человечности.

Сейчас, читая «Навеки – девятнадцатилетние», я с первых же страниц отдаюсь этому чувству: мне жалко полудевчонку-полуженщину, с которой делится Третьяков едой, а потом отчаянно целуется в машине, жалко, потому что за ней – женские, порушенные войной судьбы. Мне жалко пехотного ротного, которого и «на один бой не хватило», жалко убитых Паравяна и Насруллаева, жалко слепого Ройзмана, издерганного, израненного Старых, печального Атраковского, мальчишку Гошу, в восемнадцать лет ставшего инвалидом; мне почему-то жалко всех, кого встречаю в повести, кончая совсем эпизодической фигурой девушки-санитарки

тора, привычно прикурившей от сигарки ездового, закашлявшейся после первой затяжки, – жалко, хотя автор совсем не старается разжалобить читателя. Он пишет обо всем скупно, жестко, без надрыва, даже спокойно пишет, но атмосфера всей повести такова, что, повторяю, более щемящего чувства боли и сострадания не вызывало во мне ни одно произведение о войне.

И этот эмоциональный настрой – новое не только в прозе Бакланова, но и вообще в нашей военной прозе...

Видно, пришло время просто по-человечески пожалеть всех тех, кто не вернулся с войны... Повесть Бакланова к этому нас и зовет. И думаю, что, вспомнив, пожалев всех, кому не довелось дожить до победы, мы не унизим их своей жалостью, а, проникшись этим чувством, сами станем и лучше и чище...

Вот в свете этого общего, пронизывающего всю повесть чувства становится ясно, почему образ главного героя повести лейтенанта Третьякова вроде бы лишен автором ярко выраженных индивидуальных черт: он уже не живой с самого начала, он легкой, почти бестелесной тенью проходит по повести как символ нашего погибшего поколения. Он такой, какими были *все* юноши войны, и каждая мать, потерявшая сына на фронте, может найти в Володе Третьякове черты своего Жени, Вани, Саша, Кости, потому что он так же честен, храбр, верен воинскому долгу, как и ее сын. И не знаю, будь Третьяков задуман автором другим, более реальным, может быть, и не создалось бы того ощущения общности его со всем тем поколением, какое есть сейчас.

Чувства горечи, боли и сострадания, захватывающие читателя повести, усиливаются еще и тем, что Бакланов лишает нас наивной, но успокаивающей совестью иллюзии, что каждая солдатская смерть на войне что-то привнесла, чем-то приблизила нашу победу... Увы, смерти были и случайны, нелепы, и смерть Третьякова, уже раненого, направляющегося в санбат, – прямое тому доказательство.

Не каждому солдату удалось, как Матросову, гибелью принести прямую, реальную помощь своему подразделению, спасти жизнь товарищей. Это горькая истина, но она необходима нам, чтобы еще глубже понять трагедию войны...

Размышления писателя о произведении другого писателя редко носят характер литературной критики. Не стремлюсь к ней и я, а только хочу сказать, что эта повесть-реквием, очевидно, должна была появиться в нашей литературе, чтобы вместе с другими книгами о войне тревожить наши сердца и заставить нас еще и еще раз возвратиться и мыслью и чувством к тому великому, чем была для нашего народа Отечественная война.

В. Кондратьев

Навеки – девятнадцатилетние

*Тем, кто не вернулся с войны.
И среди них – Диме Мансурову,
Володе Худякову – девятнадцати лет.*

*Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!*

Ф. Тютчев

*А мы прошли по этой жизни просто,
В подкованных пудовых сапогах.*

С. Орлов



ГЛАВА I

Живые стояли у края вырытой траншеи, а он сидел внизу. Не уцелело на нем ничего, что при жизни отличает людей друг от друга, и невозможно было определить, кто он был: наш солдат? Немец? А зубы все были молодые, крепкие.

Что-то звякнуло под лезвием лопаты. И вынули на свет запекшуюся в песке, зеленую от окиси пряжку со звездой. Ее осторожно передавали из рук в руки, по ней определили: наш. И должно быть, офицер.

Пошел дождь. Он кропил на спинах и на плечах солдатские гимнастерки, которые до начала съемок актеры обнашивали на себе. Бои в этой местности шли тридцать с лишним лет назад, когда многих из этих людей еще на свете не было, и все эти годы он вот так сидел в окопе, и внешние воды и дожди просачивались к нему в земную глубину, откуда высасывали их корни деревьев, корни трав, и вновь по небу плыли облака. Теперь дождь обмывал его. Капли стекали из темных глазниц, оставляя черноземные следы; по обнажившимся ключицам, по мокрым ребрам текла вода, вымывая песок и землю оттуда, где раньше дышали легкие, где сердце билось. И, обмытые дождем, налились живым блеском молодые зубы.

– Накройте плащ-палаткой, – сказал режиссер. Он прибыл сюда с киноэкспедицией снимать фильм о минувшей войне, и траншеи рыли на месте прежних, давно заплывших и заросших окопов.

Взявшись за углы, рабочие растянули плащ-палатку, и дождь застучал по ней сверху, словно полил сильнее. Дождь был летний, при солнце, пар подымался от земли. После такого дождя все живое идет в рост.

Ночью по всему небу ярко светили звезды. Как тридцать с лишним лет назад, сидел он и в эту ночь в разрытом окопе, и августовские звезды срывались над ним и падали, оставляя по небу яркий след. А утром за его спиной взошло солнце. Оно взошло из-за городов, которых тогда не было, из-за степей, которые тогда были лесами, взошло, как всегда, согревая живущих.

ГЛАВА II

В Купянске орали паровозы на путях, и солнце над выщербленной снарядами кирпичной водокачкой светило сквозь копоть и дым. Так далеко откатился фронт от этих мест, что уже не погромыхивало. Только проходили на запад наши бомбардировщики, сотрясая все на земле, придавленной гулом. И беззвучно рвался пар из паровозного свистка, беззвучно катились составы по рельсам. А потом, сколько ни вслушивался Третьяков, даже грохота бомбежки не доносило оттуда.

Дни, что ехал он из училища к дому, а потом от дома через всю страну, слились, как сливаются бесконечно струящиеся навстречу стальные нити рельсов. И вот, положив на ржавую щбенку солдатскую шинель с погонями лейтенанта, он сидел на рельсе в тупичке и обедал всухомятку. Солнце светило осеннее, ветер шевелил на голове отрастающие волосы. Как скатился из-под машинки в декабре сорок первого вьющийся его чуб и вместе с другими такими же вьющимися, темными, смоляными, рыжими, льняными, мягкими, жесткими волосами был сметен веником по полу в один ком шерсти, так с тех пор и не отрос еще ни разу. Только на маленькой паспортной фотокарточке, матерью теперь хранимой, уцелел он во всей своей довоенной красе.

Лязгали, сталкиваясь, железные буфера вагонов, наносило удушливый запах сторевшего угля, шипел пар, куда-то вдруг устремлялись, бежали люди, перепрыгивая через рельсы; кажется, только он один не спешил на всей станции. Дважды сегодня отстоял он очередь на продпункте. Один раз уже подошел к окошку, аттестат просовывал, и тут оказалось, что надо

еще что-то платить. А он за войну вообще разучился покупать, и денег у него с собой не было никаких. На фронте все, что тебе полагалось, выдавали так либо оно валялось, брошенное во время наступления, во время отступления: бери сколько унесешь. Но в эту пору солдату и своя сбруя тяжела. А потом в долгой обороне, а еще острее – в училище, где кормили по курсантской тыловой норме, вспоминалось не раз, как они шли через разбитый молокозавод и котелками черпали сгущенное молоко, а оно нитями медовыми тянулось следом. Но шли тогда по жаре, с запекшимися, черными от пыли губами – в пересохшем горле застревало сладкое это молоко. Или вспоминались угоняемые ревущие стада, как их выдаивали прямо в пыль дорог...

Пришлось Третьякову, отойдя за водокачку, доставать из вещмешка выданное в училище вафельное полотенце с клеймом. Он развернуть его не успел, как налетело на тряпку сразу несколько человек. И все это были мужики призывного возраста, но уберегшиеся от войны, какие-то дерганые, быстрые: они из рук рвали и по сторонам оглядывались, готовые вмиг исчезнуть. Не торгуясь, он отдал брезгливо за полцены, второй раз стал в очередь. Медленно подвигалась она к окошку – лейтенанты, капитаны, старшие лейтенанты. На одних все было новенькое, необмятое, на других, возвращавшихся из госпиталей, чье-то хлопчатобумажное БУ – бывшее в употреблении. Тот, кто первым получал его со склада, еще керосинцем пахнущее, тот, может, уже в землю зарыт, а обмундирование, выстиранное и подштопанное, где его попортила пуля или осколок, несло второй срок службы.

Вся эта длинная очередь по дороге на фронт проходила перед окошком продпункта, каждый пригибал тут голову: одни хмуро, другие – с необъяснимой искательной улыбкой.

– Следующий! – раздавалось оттуда.

Подчиняясь неясному любопытству, Третьяков тоже заглянул в окошко, прорезанное низко. Среди мешков, вскрытых ящиков, кулей, среди всего этого могущества топтались по прогибающимся доскам две пары хромовых сапог. Сияли припыленные голенища, туго натянутые на икры, подошвы под сапогами были тонкие, кожаные, такими не грязь месить, по досочкам ходить.

Хваткие руки тылового солдата – золотистый волос на них был припорошен мукой – дернули из пальцев продовольственный аттестат, выставили в окошко все враз: жестяную банку рыбных консервов, сахар, хлеб, сало, полпачки легкого табаку:

– Следующий!

А следующий уже торопил, просовывал над головой свой аттестат.

Выбрав теперь место побезлюдней, Третьяков развязал вещмешок и, сидя перед ним на рельсе, как перед столом, обедал всухомятку и смотрел издали на станционную суету. Мир и покой были на душе, словно все, что перед глазами – и день этот рыжий с копотью, и паровозы, кричащие на путях, и солнце над водокачкой, – все это даровано ему в последний раз вот так видеть.

Хрустя осыпающейся щебенкой, прошла позади него женщина, остановилась невдалеке:

– Закурить угости, лейтенант!

Сказала с вызовом, а глаза голодные, блестят. Голодному человеку легче попросить напиток или закурить.

– Садись, – сказал он просто. И усмехнулся над собой в душе: как раз хотел завязать вещмешок, нарочно не отрезал себе еще хлеба, чтобы до фронта хватило. Правильный закон на фронте: едят не досыта, а до тех пор, когда – все.

Она с готовностью села рядом с ним на ржавый рельс, натянула край юбки на худые колени, старалась не смотреть, пока он отрезал ей хлеба и сала. Все на ней было сборное: солдатская гимнастерка без подворотничка, гражданская юбка, заколотая на боку, ссохшиеся и растресканные, со сплюснутыми, загнутыми вверх носами немецкие сапоги на ногах. Она ела, отворачиваясь, и он видел, как у нее вздрагивает спина и худые лопатки, когда она проглатывает кусок. Он отрезал еще хлеба и сала. Она вопросительно глянула на него. Он понял ее

взгляд, покраснел: обветренные скулы его, с которых третий год не сходил загар, стали коричневыми. Понимающая улыбка поморщила уголки тонких ее губ. Смуглой рукой с белыми ногтями и темной на сгибах кожей она уже смело взяла хлеб в замаслившиеся пальцы.

Вылезшая из-под вагона собака, худая, с выдранной клоками шерстью на ребрах, смотрела на них издали, поскуливала, роняя слюну. Женщина нагнулась за камнем, собака с визгом метнулась в сторону, поджимая хвост. Нарастающий железный грохот прошел по составу, вагоны дрогнули, покатались, покатались по рельсам. Отовсюду через пути бежали к ним милиционеры в синих шинелях, прыгали на подножки, лезли на ходу, переваливаясь через высокий борт в железные платформы – углярки.

– Крючки, – сказала женщина. – Поехали народ чеплять. – И оценивающе оглядела его: – Из училища?

– Ага.

– Волосы у тебя светлые отрастают. А брови те-ом-ные... Первый раз туда?

Он усмехнулся:

– Последний!

– А ты не шуткуй так! Вот у меня брат был в партизанах...

И она стала рассказывать про брата, как он вначале тоже был командир, как из окружения пришел домой, как пошел в партизаны, как погиб. Рассказывала привычно, видно было, не в первый раз, может быть, и врала: много он слышал таких рассказов.

Остановившийся поблизости паровоз заливал воду; струя толщиной в столб рушилась из железного рукава, все шипело.

– Я тоже была партизанская связная! – прокричала она. Третьяков кивнул. – Теперь только ничего не докажешь!..

Пар из тонкой трубки позади трубы бил, как палкой, по железному листу, ничего вблизи не было слышно.

– Пошли напьемся? – прокричала она в самое ухо.

– А где?

– Вон колонка!

Он подхватил вещмешок:

– Пошли!

– А потом закурим, да? – наперед улавливалась она, поспевая за ним.

Только у колонки спохватились: шинель оставил! Она вызвалась охотно:

– Я принесу!

И побежала в своих коротких сапогах, перепрыгивая через рельсы. Принесет? Но и бежать за ней было стыдно. Пущенный издали маневровым паровозом, сам собою катился по рельсам товарный вагон, заслонил ее на время.

Она принесла. Вернулась гордая, неся на руке его шинель, пилотку гребешком посадила себе на голову. По очереди они напились из колонки, и смеялись, и брызгали друг в друга водой. Надавив рычаг, он смотрел, как она пьет, зажмуриваясь, отхватывая ртом от ледяной струи. Волосы ее сверкали водяными брызгами, а глаза на солнце оказались светло-рыжие, искристые.

И с удивлением увидел он, что лет ей, наверное, столько же, сколько ему. А вначале показалась немолодой и сумрачной: голодная была очень.

Она помыла сапоги под струей: мыла и на него взглядывала. Сапоги заблестели. Ладонью отряхнула брызги с юбки. Через всю станцию она провожала его. Шли рядом, он закинул за плечо вещмешок, она несла его шинель. Словно это сестра его провожала. Или была она его девушкой. Уже прощаться стали, когда оказалось, что им по пути.

Он остановил на шоссе военный грузовик, посадил ее в кузов. Став сапогом на резиновый скат, она никак не могла перекинуть ногу через высокий борт: мешала узкая юбка. Крикнула ему:

– Отвернись!

И когда застучали наверху каблуки по доскам, он одним махом впрыгнул в кузов.

Уносились назад дорога, заволакивалась известковой пылью. Третьяков развернул шинель, закинул им за спины. Накрытые ею от ветра с головами, они целовались как сумасшедшие.

– Останься! – говорила она.

Сердце у него колотилось, из груди выскакивало. Машину подбрасывало, они стучались зубами.

– На денек...

И знали, что ничего им кроме не суждено, ничего, никогда больше. Потому и не могли оторваться друг от друга. Они обогнали взвод военных девчат. Ряд за рядом появлялся строй, отставая от машины, а сбоку маршировал старшина, беззвучно разевал рот, в который неслась пыль. Все это увиделось и заволокло известковым облаком.

На въезде в деревню она спрыгнула, вместе с прощальным взмахом руки скрылась навсегда. Донеслось только:

– Шинель не потеряй!

А вскоре и он слез: грузовик сворачивал у развилки. Он сидел на обочине, курил, ждал попутной машины. И жалел уже, что не остался. Даже имени ее не спросил. Но что имя?

Примаршировал по пыли взвод девчат, которых они обогнали, промчавшись.

– Взво-у-уд!.. – отпуская от себя строй, старшина загарцевал на месте. – Стуй!

Затопали не в лад, стали. Медно-красные от солнца лица, волосы, набитые пылью.

– Нали-и-ву!

Напрягая икры ног, пятясь от строя, старшина звонко вознес голос:

– Равняйся! Сми-и-ррна!

У девчат от подмышек до карманов гимнастерок – темные круги пота. На той стороне шоссе осенняя рощица порошила на ветру листвой. Кося напряженным выкаченным глазом, старшина прошелся перед строем, как на подковах:

– Р-разойдись...

И смачно произнес, за какой нуждой разойтись. Со смехом, взбрыкивая сапогами, девчата бежали через шоссе, на бегу снимали через головы карабины. Старшина, довольный собой, подошел, козырнул, сел рядом с Третьяковым на обочину: начальство с начальством. Из-под фуражки по его коричневому виску, по неостывшей щеке тек пот, прокладывая блестящую дорожку.

– Связисток гоню! – И подмигнул веселым глазом, белок его был воспаленный от пыли и солнца. – Должность – вредней не придумаешь.

Свернули по папироске. За шоссе в роще перекликались голоса. Постепенно взвод собирался. В пилотках, в погонах, с карабинами на плечах возвращались девчата из рощицы, кто сорванный цветок нес в руке, кто – пучок осенних листьев. Построились, подравнялись. Старшина скомандовал:

– С места – песню!

Хохот ответил ему. Он только показал издали: такой, мол, у меня народ.

Сидя на обочине, ожидая попутной машины, Третьяков смотрел вслед строю военных девчат, весело топавших по пыли.

ГЛАВА III

Чем ближе к фронту, тем ощутимей повсюду следы огромного побоища. Уже прошли по полям похоронные команды, хороня убитых; уже трофейные команды собрали и свезли, что вновь годилось для боя; окрестные жители стаскивали каждый к себе, что оставила война, прогрохотавшая над ними, и теперь годилось для жизни. Ржавела в полях сгоревшая, разбитая техника, и над всем, над тишиною смерти – колючая ясность и синева осеннего неба, с которого пролились на землю дожди.

А мимо по грейдеру цокотала подковками пехота, позвякивала окованными прикладами о котелки, полы шинелей на ходу хлестали по ногам, тонковатым в обмотках. Солдаты всех ростов и возрастов, снаряженные и нагруженные, шли на смену тем, кто poleg здесь. И самые молодые, ничего еще не выдавшие, тянули шеи из необмятых воротников шинелей, со щемлящим любопытством и робостью живого перед вечной тайной смерти вглядывались в поле недавнего боя. Там, куда они шли в свет заката, по временам словно растворяли паровозную топку: доносило усиливающееся гудение и вздрагивал воздух. И в себе самом, удивляясь и стыдясь, чувствовал Третьяков это беспокойство. Увидел сожженный немецкий танк у самого шоссе, остановился поглядеть. Танк был какой-то новый, громадней тех, что видел он на Северо-Западном фронте. Синяя оплавленная пробоина в броне: снаряд, должно быть, подкалиберный, как сквозь масло прошел. А броня мощная, толще прежней.

Ветер шевелил вдавленные в чернозем сырые ключья нашего серого шинельного сукна. В осколках луж, в танковом следу блестело похолодавшее небо, свежо и ясно сиял закат, покрываемый рябью. Третьяков смотрел и волновался, и мысли всякие, как впервые... Восемь месяцев не был на фронте, отвык, заново надо привыкать.

Последнюю ночь вместе со случайным попутчиком ночевал он на краю большого, сожженного немцами села. Попутчик был уже не молод, рыжеват, лицо мятое, на котором брить почти нечего, кисти рук в крупных веснушках, в белом волосе.

– Старший лейтенант Таранов! – представился он и четко, словно ожегшись, отдернул ладонь от лакового козырька фуражки. По выправке – строевик. Все на нем было не с чужого плеча: суконная зеленоватая гимнастерка, синие диагональные галифе – цвет настольного сукна и чернил. Сапоги перешиты на манер хромовых. А на руке нес он шинель офицерского покроя из темного неворсистого сукна. Даже на руке она сохраняла фигуру: спина подложена, грудь колесом, погоны на плечах, как дощечки, разрез от низу до хлястика. В такой шинели хорошо на параде, на коне, а укрыться ей невозможно: какой стороной на себя ни натягивай, ветер гуляет и звезды видны. Вот с нею на третьем году войны добирался старший лейтенант Таранов из запасного полка на фронт.

– Сами понимаете, как все это время не терпелось участвовать, – сказал он, при этом строго глянул в глаза и с чувством пожал руку.

Таранов сам выбрал дом для ночевки, и очень удачно. Хозяйка, лет сорока, украинка, статная, гладко причесанная, черноволосая и смуглая, обрадовалась офицерам: по крайней мере, не набьется полная хата войск. И вскоре Таранов, поперек повязавшись полотенцем, помогал ей на кухне организовать ужин, вскрывал консервные банки, и женщина старалась рядом с ним. А за спиной ее, привлеченный запахом еды, ходил мальчонка лет трех, тянулся заглянуть на стол.

– Та лягай спать, горе мое! – прикрикнула хозяйка и, как будто злясь на него, сунула ему со стола кусок американского колбасного фарша. А сама приниженно, испуганно глянула на Таранова.

Сбегав через дорогу к шоферам, Третьяков заправил бензином керосиновую лампу, всыпал в нее горсть соли, чтобы бензин не взорвался, а когда вернулся, за столом сидели уже трое.

– Ты гляди, лейтенант, кого хозяйка от нас скрывала! – поблескивая золотыми коронками из-под бледных, как отсыревших изнутри губ, шумно встретил его Таранов. И подмигивал, указывал глазами.

Рядом с хозяйкой сидела дочь лет семнадцати. Была она тоже крупна, хороша собой, но сидела, как монашенка, опустив черные ресницы. Когда Третьяков садился около, подняла их, глянула на него с любопытством. Глаза синие-синие. Заговорила первая:

– Мы не взорвемся?

– Что вы? – стал успокаивать Третьяков. – Проверено на фронте. Соли всыпал в бензин, ни за что не взорвется.

И споткнулся о ее взгляд. Она снисходительно улыбалась:

– Я ж така трусиха, усега боюсь...

А мать черными глазами стерегла ее и рассказывала, рассказывала, сыпала словами, как из пулемета:

– Тут нимцы увходят, тут я писля операции уся, уся разрезанная лежу. Ой, боже ж мий! Оксаночке четырнадцать рокив и тэ, малэ... Шо мэни робить?

– Тебя Оксаной зовут? – спросил Третьяков тихо.

– Оксана. А вас?

– Володя.

Она подала под столом свою руку, мягкую, жаркую, влажную. Сердце у него пропустило удар и заколотилось, как сорвавшись.

– Оксаночка! – позвала хозяйка, встав из-за стола. Та вздохнула, улыбнулась лейтенанту, нехотя пошла за матерью.

– Ты не теряйся, лейтенант! – шепнул Таранов. Они двое сидели за столом, ждали. За дверью слышен был приглушенный голос хозяйки: она что-то быстро говорила, ни одного слова не разобрать. – На фронт едем.

Он подмигнул. По очереди прикурили от лампы.

– Может, последний день так, может, завтра убьют, а? – И громко позвал: – Катерина Васильевна! Катя! Что ж вы нас бросили одних? Нехорошо, нехорошо. Мы ведь обидеться можем.

Голоса за дверью смолкли. Потом хозяйка вышла одна, сияя улыбкой.

– А где же Оксаночка? – забеспокоился Таранов.

– Спать полягали. – Хозяйка близко села с ним рядом, полным плечом касалась его плеча. – От если б вы были врачи...

– А что? Какая болезнь? – спрашивал Таранов.

– Та не болезнь. Дороги гоняют строить. От если б вы были врачи, дали б освобождение дивчине.

– А мы и есть врачи! – Таранов усиленно подмигивал ему, глазами указывал на дверь, за которой была Оксана.

– То вы шуткуете! – И полной ручкой махала на него. Таранов ручку перехватил, к себе потянул. – У врачей погоны зовсим не такие.

– А какие же они у врачей?

– Манэсеньки, манэсеньки. – И пальцем другой руки рисовала у него на плече, на погоне. – Манэсеньки, манэсеньки...

– А не большесиньки? – У Таранова влажно поблескивали золотые коронки, к нижней беловой изнутри губе присохла болячка. – Не большесиньки?

Разговор уже шел глазами. Третьяков встал, сказал, что пойдет покурить. В коридоре нащупал в темноте шинель, вещмешок. Закрывая наружную дверь, слышал приглушенный голос Таранова, женский смех.

Спиной опершись об уцелевший стояк забора, он стоял во дворе, курил. На душе было погано. Женщина, конечно, заслоняет собою дочь. Может, и при немцах вот так заслоняла, собою отвлекала от нее. А этот обрадовался: «На фронт едем...»

Беззвучно, артиллерийскими зарницами вздрагивало небо в западной стороне. Обмытый дождем узкий серп народившегося месяца, до краев налитый синевою, стоял над пожарищем, корявая тень заживо сгоревшего дерева распласталась по двору. Гарью наносило с соседнего участка: там обугленные яблони, когда-то посаженные под окнами, окружали обвалившуюся печную трубу на пепелище.

Слышно было, как через улицу во дворе колготятся шоферы у машин. Третьяков пошел туда. В доме на полу спали вповалку. Он влез по шаткой лестнице на сеновал, на ощупь сгреб охапку сена, пахнущего пылью, лег, укрылся шинелью с головой. Хотелось уже к месту – и скорей бы. Засыпая, слышал внизу голоса шоферов, медленное гудение самолета где-то высоко над крышей.

А на другой день он встретил старшего лейтенанта Таранова в штабе артиллерийской бригады. Прошагав на восходе солнца километров шесть пешком, Третьяков явился рано, писаря только еще рассаживались за столами. После завтрака им ни за что братья не хотелось до прихода начальства, они с деловым видом открывали и захлопывали ящики.

Полки артиллерийской бригады, подивизионно, побатарейно приданные стрелковым полкам и батальонам, разбросаны были на широком фронте, а штаб стоял в хуторе, в четырех километрах от передовой. Дальние артиллерийские разрывы сотрясали тишину и лень, повисшие под низким потолком хаты. Когда ветер поворачивал оттуда, доносило частую строчку пулеметов, но слышней жужжала на стекле оса. В раскрытой наружу пыльной створке окна ползла она снизу вверх по стеклу, удерживая себя трепыхающимися крылышками, и писарь на подоконнике перегибался, сладострастно и опасливо нацеливался раздавить ее.

Дымком летней кухоньки наносило со двора: там, под вишнями, в деревянном корыте стирала хозяйка. Горой лежали на траве штаны и гимнастерки, вываривался на огне полный чан портянок. Писарь Фетисов, молодой, но уже лысоватый, добровольно вызвавшись помогать, похаживал вокруг корыта, как на коготках. То сук разломит о колено, подкинет в огонь, то помешает в чану, а сам глаз не мог отвести от каменно колыхавшихся в вырезе рубашки груди, от рук хозяйки, голых по плечи, сновавших в мыльной пене. Из окна ему подавали советы. И только старший писарь Калистратов, готовясь дело делать, прочищал наборный мундштучок, протягивал соломинку сквозь него. Вытянул всю как в дегте, коричневую и мокрую от никотина, понюхал брезгливо, покачал головой.

Писарю на окне удалось наконец задавить осу. Довольный, обтер пальцы о побелку стены, достал яблоко из кармана, с треском разгрыз – белый сок вскипел на зубах.

– Так какие тебе, Семиошкин, часы разведчик припер? – спросил Калистратов. А сам прилежно клонил к плечу расчесанную чубатую голову, осторожно, чтоб не оборвать, протягивал новую соломинку через мундштук, начисто прочищал.

Семиошкин поерзал штанами по подоконнику:

– «Доксу»!

– Им везет... разведчикам. – Калистратов на свет поглядел в отверстие прочищенный мундштучок. – Впереди идут, все ихнее. Чего им?...

Третьякова писаря не замечали вовсе. Мало ли таких лейтенантов, обмундированных и снаряженных, проходит через штаб по дороге из училища на фронт. Иной и обмундирования не успевает износить, а уже двинулось в обратный путь извещение, вычеркивая его из списков, снимая со всех видов довольствия, более ненужного ему.

И еще он сам виноват был, что писаря не замечают его, и вину свою знал. Перед завтраком заскочил в штаб начальник разведки бригады – писарей из-за столов как выдернуло. Сами

откуда-то явились бумаги на столах, за пишущей машинкой в углу возник писарь в очках, которого до этих пор вовсе не было, словно он под столом сидел. Ползая очками по клавишам, он печатал одним пальцем: тук... тук... – литеры надолго прилипали к ленте.

Чем-то понравился Третьяков начальнику разведки бригады: «Калистратов, скажешь, беру лейтенанта! Здесь останется, у меня, командиром взвода». И вместо того чтобы обрадоваться, вместо благодарности, Третьяков попросился в батарею. С этого момента писаря дружно перестали его замечать. Собравшись скопом, они разглядывали сейчас часы Семиошкина, лежавшие на столе. Даже писарь в очках, как видно низший в здешней иерархии, вылез было из-за машинки тоже поглядеть, но ему сказали:

– Печатай, печатай, нечего тут...

Ножичком Калистратов вскрыл заднюю крышку часов, обнаженный, пульсировал маятник на виду у всех.

– Ие-ве-ли-сы... – по складам читал Калистратов нерусские буквы. Проглотил слюну, утвердился, чубом тряхнув. – Евельс! Это что?

– Эти камни еще лучше рубиновых, – похвастался Семиошкин и сладко причмокнул яблоком. – На шестнадцати камнях!

– «Евельс»... Везет разведчикам.

Кто-то хохотнул:

– Оно у них не долго задерживается.

Третьяков вышел во двор ждать связного из полка, чтобы не плутать зря. Хозяйка, сняв чан с плиты, опрокинула его, ком вываренных портянок в мыльном кипятке вывалился в корыто, оттуда в лицо ей ударил пар. А на траве, на ворохе гимнастерок, расставя босые ноги, сидел при ней мальчонка лет двух, прижав кулаками ко рту помидор, высасывал из него сок. Вся рубашонка на животе была в помидорных зернах и в соке. «Наверное, без отца родился», – лениво соображал Третьяков. Он рано встал сегодня, и на утреннем солнце под отдаленное буханье орудий его клонило в сон. Головки сапог из выворотной кожи, которые он смазал солидолом, были все ржавые от пыли. Подумал было почистить их травой, даже глянул, где сорвать поросистей, но тут издали заметил связного.

С карабином за плечами, поглядывая вверх на провода, сходящиеся к штабу, солдат быстро шел увалистой походкой, тени штaketника и солнечный свет катились через него. Обождав, Третьяков следом за ним вошел в штаб. Успевший вручить донесение связной пил воду у двери. Допил, насухо за собой стряхнул капли, вверх дном перевернул рядом с ведром жестяную кружку. Тут же, у дверей, присевши на корточки, вытер снятой с головы пилоткой враз вспотевшее лицо, мягкие погоны на его плечах вздулись пузырями.

Старший писарь, для солидности подальше отнеся от глаз, строго читал донесение, а связной, оперев карабин о стену, пригрозив ему пальцем, чтоб стоял, сворачивал курить.

– Из триста шестнадцатого? – спросил Третьяков.

Связной слюнявил языком край газетки, доброжелательно мигнул снизу. Прикурил, сладостно затянулся, спросил, щурясь от дыма:

– Это вас, товарищ лейтенант, сопровождать?

Сожженные солнцем брови его были белы от насевшей пыли, распаренное лицо – как умытое. Мокрые, потемнели, прилипли отросшие на висках волосы. Затянувшись несколько раз подряд, окутавшись висячим махорочным облаком, связной вдруг спохватился:

– Вот ведь забыл совсем... Как отшибло память... – И, вставши, расстегивал карман гимнастерки. Вытащил оттуда серую от пыли тряпицу, развернул на ладони – в ней была серебряная медаль «За отвагу».



Писаря, сойдясь, читали сопроводительную, разглядывали медаль, как недавно разглядывали часы. Была она старого образца, с красной замаслившейся лентой на маленькой колодке. Серебро почернело, словно закопилось в огне, а посреди – вмятина и дырка. Пуля косо прошла через мягкий металл, и номер на обороте нельзя было разобрать.

– Это какой же Сунцов? – спрашивал старший писарь Калистратов, как видно гордясь своим знанием личного состава. – Который к нам в Гулькевичах с пополнением прибыл?

– А я не знаю, – доброжелательно улыбался связной и сложенной пилоткой вновь утер лицо и шею. Он рад был отдыху, остывал перед тем, как вновь идти по солнцу, и выпитая вода выходила из него потом. – Приказали: снеси в штаб, отдай, мол.

– Так как же его убило?

– А как? На НП, должно. Разведчик.

– Телефонист. Вот сказано: связист.

– Разве связист? Ну, значит, по связи... – еще охотней согласился солдат. – Связь обеспечивал...

Старший писарь отчего-то нахмурился, отобрал у писарей медаль, подколол к ней сопроводительную бумагу. И когда открывал заскрипевшую крышку железного ящика, был торжествен и строг, словно некий обряд совершал. Серебряная медаль звякнула о железное дно, и снова со скрежетом и лязгом опустилась крышка.

Вскоре – вслед за связным – Третьяков шел в полк. Они свернули в проулок. Навстречу во всю ширину его – от плетня до плетня – шли с завтрака офицеры. Солнце светило сбоку, и тени головами дотягивались по пыли до плетня, а ближние и за него перевалили.

Старший по званию, майор, что-то рассказывал уверенно, а шедший с правого края офицер заглядывал вдоль строя, улыбкой участвуя в разговоре. И с удивлением Третьяков признал в нем старшего лейтенанта Таранова, его золотой клык блеснул из дряблых губ. Но видом, выправкой строевой он весь так прихотился в этой шеренге возвращавшихся с завтрака, словно всегда и был здесь.

ГЛАВА IV

Той же ночью Третьяков вел орудия к фронту. Весь их дивизион перекидывали куда-то левей. Заскочил в сумерках командир батареи капитан Повысенко, ткнул ногтем в карту:

– Вот этот ложок видишь? Высотку видишь? Поставишь орудия за обратным скатом. – Железный ноготь, обкуранный до черноты, провел черту. – Ясно? Мой НП будет на высоте плюс сто тридцать два и семь. Поставишь батарею, потянешь ко мне связь. – И опять: – Ясно?

– Ясно, – сказал Третьяков. На карте все было ясно.

Рядом рокотал трактор, из выхлопной трубы выпархивали искры, яркие в сумерках. Зачехленные, в походном положении, орудия были уже прицеплены, но батарейцы все что-то грузили на них сверху, все что-то несли. У прицепа с батарейным имуществом суетился старшина. Повысенко поглядел туда неподвижным взглядом, подошел.

В прицепе, под брезентовым верхом, стоял в темноте на четвереньках командир огневого взвода Завгородний, мучился болями. Его хотели отправлять в медсанбат, но на фронте заболевший поневоле чувствует себя кем-то вроде симулянта. Тут либо ранит, либо убивает, а какая может быть болезнь на фронте? Сейчас ты жив, через час убило – не все равно, здорового убило или заболевшего? И Завгородний превозмогал себя. В последний момент старшина вспомнил испытанное средство: намешал полстакана керосина с солью, дал выпить: «Оно сначала пожгет, пожгет, потом отпу-устит...»

Подойдя к заднему борту, Повысенко заглянул внутрь прицепа, в темноту:

– Ну как, полегчало?

И старшина всунулся:

– Жгеть? Жгеть?

Он чувствовал себя ответственным – и за средство и за болезнь.

– Легча-ает, – через силу простонал Завгородний. И переступил коленями на шинелях: лечь он не мог.

– Средство верное, – обнадежил старшина. – Пожгеть, пожгеть – и отпу-устит...

И погладил себя по душе, до самой ременной пряжки, где и должно было отпустить.

Давило низкое небо, все серое, как одна сплошная туча. И угольными тенями под ним несло разорванные облака. Притихло перед дождем. Трактора с прицепленными орудиями стояли в посадке; правей за кукурузным полем глухо выстукивали пулеметы, взвивались над землей трассы пуль, все уже яркие.

– Значит, так. – Комбат подумал, пожевал шелушащимися, обветренными губами. – Твой взвод управления беру с собой. Случ-чего Паравян, помкомвзвода, с тобой будет. Все ясно? Действуй!

Козырнул и зашуршал плащ-палаткой, удаляясь.

Дождались темноты. Тронулись. Взрокотав, трактора потянули за собой орудия, подминая под гусеницы кустарник, давя на выезде из посадки молодые деревца. По рыхлой земле глубокий развороченный след оставался за батареей.

Двигались без света. Сверху – черное небо, под ногами и впереди светлела пыльная дорога. Спустился дождь. На тяжелые колеса пушек, на резиновые ободья валом наматывался чернозем.

Фронт все время оставался правей; по нему и ориентировался Третьяков. Невысоко взлетали там ракеты и гасли, задушенные дождем. В смутных движущихся отсветах каждый раз видел Третьяков батарейцев в мокрых плащ-палатках, идущих за пушками. И обязательно несколько человек, нахохлившись, сидели на каждой пушке, дремали, а сверху дождь сыпал.

– Паравян! А ну сгони с пушек! Тряхнет, попадают сверху, подавит сонных.

Паравян, статный, красивый помкомвзвода, смотрел на него из-под намокших выгнувших ресниц своими черными глазами, молча не одобрял и шел выполнять.

– Хочешь, чтоб людей подавило? Сколько раз говорить!

И знал Третьяков, что говорить ему столько, сколько будут двигаться. Он тоже был бойцом, и тоже его вот так сгоняли, а он заходил с другой стороны и, как только не видел командир, опять влезал на пушку, потому что хотел спать, а спать сидя лучше, чем на ходу. Но сейчас не кто-то другой, кого в душе чертыхать можно, отвечал за него, а он сам командовал людьми и отвечал за них и потому приказывал сгонять сонных бойцов. И Паравян неохотно шел выполнять.

Никого из них, кроме все того же Паравяна, не знал он ни в лицо, ни по фамилии. Он вел их, они шли за ним. Он и в своем-то взводе управления еще никого не успел узнать. Дело было перед самым обедом, вызвали в штаб командира отделения разведки Чабарова, который заменял убитого командира взвода, приказали сдать взвод ему, лейтенанту Третьякову. Чабаров, старый фронтовик, глянул на девятнадцатилетнего лейтенанта, присланного командовать над ним, ничего не сказал, повел к бойцам.

Весь взвод, все, кто в этот момент не находился на наблюдательном пункте, рыли за хатой щели от бомбежки: не для себя рыли, для штаба дивизиона. Над стриженными головами, над мокрыми подмышками, над втянутыми от усилия животами взлетали вразнобой и падали кирки. В закаменелой от солнца земле кирка, вонзаясь, оставляла металлический след и вновь взлетала, блещущая, как серебряный слиток.

Освещенные солнцем солдатские тела даже после целого лета были белы, только лица, шеи и кисти рук черные от загара. И все это были молодые ребята, начинавшие наливаясь силой: за войну подросли в строю; только двое, трое – пожилых, жилистых, с вытянутыми работой мускулами, начавшей обвисать кожей. Но особенно один из всех выделялся, мощный,

как борец, от горла до ремня брюк заросший черной шерстью; когда он вскидывал кирку, не ребра проступали под кожей, а мышцы меж ребер.

Пройдя взглядом по этим блестящим от пота телам, увидел Третьяков у многих отметины прежних ран, затянутые глянцевою кожей, увидел их глазами себя: перед ними, тяжело работавшими, голыми по пояс, стоял он, только что выпущенный из училища, в пилотке грешком, весь новый, как выщелкнутый из обоймы патрон. Это не зря Чабаров вот таким представил его взводу, нашел момент. И не станешь объяснять, что тоже побывал, повидал за войну.

После уж, когда подошло время за обедом идти, построил Чабаров взвод, с оружием, с котелками в руках, подал список, собственноручно накорябанный на бумаге. А сам, подбористый, коренастый, широкоскулый, с коричневым от загара лицом, в котором ясно различалась монгольская кровь, стал правифланговым, всем видом своим давая понять, что дисциплину он уважает, а его, нового командира взвода, пока что уважать подождет. И вот взвод стоял, глядел на него, а на листе бумаги перед Третьяковым – фамилии.

– Джеджелашвили! – вызвал он. Поразило, зачем два раза «дже», когда и одного было бы достаточно. И еще успел подумать, что это, наверное, тот самый, заросший по горло черной шерстью.

– Я!

Из строя выступил светлый мальчик, морковный румянец во всю щеку, глаза рыжеватые, глядит весело: Джеджелашвили. А у того, борца, фамилия оказалась Насруллаев. И кого ни вызывал он из строя, ни одна фамилия как-то не подходила к человеку. Так и осталось у него на первых порах: список сам по себе, взвод сам по себе.

Этот его взвод увел с собой командир батареи – оборудовать новый наблюдательный пункт, а он вел пушки и огневики Завгороднего, которого везли в прицепе. И уже сам не представлял толком, куда он их ведет. К трем ноль-ноль пушки должны были стоять на огневых позициях, а они пока что и Ясеневки не проехали. «Там будет хутор Ясенивка чи Яблонивка, – сказал комбат, на стертом сгибе карты пытаюсь разобрать названия. – В общем, сам увидишь... От него вправо и вправо...» Но они шли и час и два часа, а никакого хутора не было видно, сколько ни вглядывался Третьяков при смутных отсветах ракет, в дожде приподымавших над передовой мокрый полог ночи. И, ужасаясь мысли, что он ведет не туда, сбился, страхась позора, он делал единственное, что мог: не подавал вида, шел тем уверенней, чем меньше уверенности было в нем самом.

Что-то зачернело наконец впереди неясно. Вошла ракета, и, присев, успел Третьяков разглядеть на фоне неба: какие-то сараи длинные, низкие, что-то еще высилось за ними. Должно быть, тополя... Ракета погасла, сплошная сомкнулась темень.

Заторопившись, обрадованный, оскользаясь сапогами по размокшему чернозему, он обогнал передний трактор, махнул трактористу рукой: за мной, мол. Все равно голоса не было слышно.

То, что он принял издали за сараи, оказалось вблизи батареями двадцатидвухмиллиметровых пушек. Увязанные, как возы, стояли сбоку дороги длинноствольные пушки с тракторами одна другой вслед. И оттуда уже шел к нему кто-то в плащ-палатке. Подошел, взял под козырек, отряхнув капли с капюшона, подал мокрую холодную руку:

– Глуши моторы!

– Зачем глушить?

– Не видишь, что впереди?

Ничего еще не различая, поняв только, что это не хутор, значит, не туда куда-то они вышли, Третьяков спросил:

– А Ясенивка тут должна быть, Ясенивка... До Ясеневки далеко?

Лицо человека, смутно различимое под капюшоном, показалось старым, сморщенным. Но на груди его, где плащ-палатка разошлась, воинственно блестели пряжки боевых наплечных

ремней, надетых поверх шинели, тоненький ремешок планшетки пересекал их, и еще болтался мокрый от дождя бинокль.

– Километров пять до нее будет.

– Как пять? Было четыре, мы уже два часа идем...

– Ну, может, четыре, – человек безразлично махнул рукой. – Взводный? Вот и я сам такой Ванька-взводный. У тебя стопятидесятидвух гаубицы-пушки? То же, что мои, один черт. Пятнадцать тонн вместе с трактором! А мост впереди – плечом спихнешь.

Вместе пошли смотреть мост. От обеих батарей потянулись за ними бойцы. По мокрым, скользким бревнам настила дошли до середины. Внизу то ли овраг, то ли пересохшее русло – не разглядишь отсюда.

– А Ясенева на той стороне?

– Что, Ясенева! Ясенева, Ясенева... У тебя этот мост есть на карте? И у меня нету. – Раскрыв планшетку, взводный ногтем щелкал по целлулоиду, под которым мутно различалась карта, рукавом шинели смахивал сыпавшийся сверху дождь. – На карте его нету, а он – вот он!

И для большей наглядности бил каблуком в бревна. Даже подпрыгнул на них. А вокруг стояли бойцы обеих батарей.

– На карте нет, значит, и на местности не должно быть. А раз он есть, на карту нанеси. Так я понимаю?

Он понимал правильно: на карту не нанесли, он воевать не обязан.

По откосу, вымочив колени о высокую траву, Третьяков сбежал под мост. Опоры из бревен. Схвачены скобами наверху. Когда вот так снизу глядел, все это сооружение показалось ненадежным.

В училище объясняли им, как рассчитать грузоподъемность моста. Майор Батюшков преподавал у них инженерное дело. Черт его рассчитает сейчас, когда не видно ничего. А в уши назойливо лез голос взводного – не отставая, тот шел за ним, в каждую опору бил кулаком:

– Вон они! Вон они! Разве ж выдержит такой груз? – И ногтем пытался уколупнуть: – Она еще и гнилая вся...

Как будто главней войны было сейчас убедить Третьякова.

Взошла ракета, не поднявшись над краем черной земли. Мутным светом налило овраг, и на нем всплыл мост: бревенчатый настил, люди под дождем. А они двое стояли внизу в траве. Остов грузовика валялся среди камней; по кабине, смятой, как жестянка, и мокрой, сек дождь. «Чего он меня убеждает?» – разозлился Третьяков. И, за свою нерешительность остро возненавидев этого человека, полез наверх.

Он подошел к первому орудью:

– Где трактористы?

Бойцы начали оглядываться, потом один из них, ближний, который оглядывался живе́й всех, назвал:

– Я!

Словно вдруг сам себя среди всех нашел. Но не выступил вперед, остался среди бойцов стоять: так он прочней себя чувствовал.

– Командиры орудий, трактористы – ко мне! – приказал Третьяков, тем отделяя их от батареи.

Один за другим подошли и стали перед ним шесть человек. Трактористов сразу отличить можно: эти все закопченные.

– Значит, так, людей всех – от орудий. Командиры орудий, пойдете впереди. Каждый – впереди своего орудия. Трактористам: орудия поведете на первой скорости. Пройдет одно, тогда другое вести. Ясно?

Молчание. Один из двух командиров орудий был Паравян, который «случ-чего с тобой будет».

– Ясно я говорю?

Не сразу недружно ответили: «Ясно...» А позади стояла и молчала батарея. Они были вместе, а он, поставленный над ними, никому и ничем не известный, был один. И не столько даже мосту они не доверяли – выдержит, не выдержит, – как ему они не верили. И другая батарея ждала, уступала им дорогу идти первыми.

– Твой трактор? – Третьяков пальцем указал на тракториста, который поначалу больше всех оглядывался. И на трактор указал.

– Этот? – тракторист тянул время. На тракторе до малинового свечения раскалилась у основания выхлопная труба, капли дождя испарялись на лету. – Мой.

– Фамилия?

– А что фамилие, товарищ лейтенант? Семакин мое фамилие.

– Ты, Семакин, поведешь первое орудие.

– Я, товарищ лейтенант, поведу! – звонко заговорил Семакин и рукой махнул отчаянно: мол, ему себя не жаль. – Я поведу. Я приказания всегда выполняю! – При этом он отрицательно тряс головой. – Только трактор чем будем вытаскивать? Ему под мостом лежать. И орудие тож самое...

Он говорил, подпираемый сочувственным молчанием батарейцев. Все они вместе и по отдельности каждый отвечали и за страну, и за войну, и за все, что есть на свете и после них будет. Но за то, чтобы привести батарею к сроку, отвечал он один. А раз было кому, они не отвечали.

– Я под мостом буду стоять, если ты испугался, боишься вести. Надо мной поведешь орудие! – И, скомандовав: – Трактористам – по местам, всем бойцам – от орудий! – повел батарею к мосту.

Когда гусеницы трактора легли на первые бревна и они, зашевелившись, дрогнув, вдавились, Третьяков сбежал вниз. При командире батареи они не стали бы жаться, друг на друга оглядываться, а на него можно и свой груз переложить.

– Давай! – махнул рукой, крикнул он снизу, хоть там, рядом с трактором, слышать его не могли. И, как в свою судьбу, вошел под мост.

Все прогибалось над головой, над поднятым вверх лицом, с бревна на бревно передавая катившуюся тяжесть. Показалось, опоры оседают. И тут пушка въехала на мост. Застонал, зашатался мост. «Рухнет!» – даже дыхание перехватило. Бревна терлись друг о друга, сверху сыпалась труха. Мигая запорошенными глазами, не видя ничего, он протирали их шершавыми пальцами, пытался разглядеть ослепленно, что над ним, но все мерцало. И сквозь выхлопы мотора слышен был треск дерева.

Не разглядев, он почувствовал, как вся эта огромная тяжесть съехала с моста на земную твердь, и мост вздохнул над ним. Только теперь и ощутил он, какая сила давила сверху: по своим напрягшимся мускулам ощутил, будто он сам спиной подпирал мост.

Третьяков вылез из оврага: не стоять же ему все время под мостом, не цирк все-таки. Приказав на всякий случай отцепить прицеп, везти его на длинном тросе, он, не ожидая, перешел мост. Он шел мимо орудия, мимо стоявших около него батарейцев, он был прав, он делал то, что должен делать, но отчего-то смотреть на них ему сейчас было неприятно и уже стыдно-вато становилось за себя. Под мост полез, чего-то кричал... Проще было сесть рядом с трактористом и спокойно вести батарею: и шуму меньше, и толку больше.

К середине ночи, на хуторе, достучавшись в хату, подняли старика показывать дорогу. В одном белье, ничего на себя не надев, сидел он на тракторе: надеялся, наверное, так жальче будет его, отпустят скорей. Ему дали на плечи ватный бушлат, пропахший соляжкой, и он, запахнувшись рукавами, грел ногу об ногу.

– Ось, ось... по тэй стежечке... – Голая цыплячья шея его с клоками белого пуха высовывалась из воротника.

– «Осесь, осесь», – передразнивал тракторист, весь мокрый, в мокрой, натянутой на голову пилотке. – Где ты меня ведешь? Тут бабы до ветра ходят. Ты веди, где пушка пройдет!

Старик покорно мигал слезящимися глазами, и опять вытянутая из бушлата трясущаяся рука его указывала вперед, на дождь. Он вывел батарею в посадку, и его отпустили.

Заглушили моторы. И близко резко вдруг застучал пулемет. Из черноты земли засверкали трассы пуль, возникая и исчезая. Передовая была где-то недалеко. И он с тяжелыми пушками заперся сюда.

Подошли трактористы:

– Горючего нет, товарищ лейтенант.

– Как нет?

– Пожгли.

– Всю ночь ездим-ездим...

Слабый хлопок выстрела. Прочертив искрящийся дымный след, взвилась ракета. Вспыхнула, раскрылся свет над ними, и посадка, пушки, люди – все поднялось к свету, как на голой ладони.

– Как же нет горючего? – спрашивал Третьяков, чувствуя полнейшую свою беспомощность и отчаяние. – Как нет, когда должно быть?

Они стояли перед ним, глядели в землю и молчали. И могли так стоять бесконечно, это он видел. Свет погас. Не зная, что теперь делать, что еще говорить, – а кричать, ругаться вовсе было бесполезно, – Третьяков отошел. Показалось, что из прицепа Завгородний позвал его, стон какой-то послышался, но он сделал вид, что не слышит. Утешений ему не надо, да и что он, больной, оттуда мог сделать?

Какие-то лошади бродили в посадке. Одна, светлой масти, прижмурив глаза, обгрызала кору с дерева. От мокрого крупа ее подымался пар. Третьяков только сейчас увидел, что дождь кончился. И от земли, из травы исходит туман.

Он услышал голоса, подошел ближе. Тяжело дыша, приглушенно ругаясь, расчет закатывал пушку в свежевырытый окоп. Придерживая за ствол, налегая на станины, на резиновые колеса, полуголые, мокрые от дождя батареицы скатили орудие. Сдержанно возбужденные стояли вокруг него. Это были позиции дивизионных пушек. Он разыскал командира взвода. Стариковатый с виду, в пехотинских обмотках и ботинках, на каждый из которых налипло по пуду чернозема, тот поначалу недоверчиво слушал Третьякова. Наконец понял, в чем дело. Сличили карты. И вдруг, словно местность повернулась перед глазами, все понятно стало. С полкилометра отсюда был тот скат высоты, за которым следовало поставить батарею.

Торопясь, пока не рассвело, он отыскал позиции батареи, все там облазил, сообразил, какой дорогой поведет сюда орудия, и вернулся в посадку. Бойцы спали, только Паравян, завернувшись в плащ-палатку, ходил у орудий. Скомандовали подъем. Озябшие, в сырых бушлатах, не согретые и во сне, подходили трактористы, зевали с дрожью. Он объяснил, как поведет орудия, и горючее нашлось.

– Там в канистрах было немного...

И отводили глаза. Он так расстроился, когда сказали, что горючее кончилось, что даже по бакам не проверил. А теперь не только в канистрах, но еще и бочка солярки обнаружилась. Ну что ж, трактористы тоже были правы: ездить всю ночь неведомо куда – и правда все горючее пожжешь.

Перед рассветом, когда сгустилась сырая тьма, Третьяков, оставив огневики рыть орудийные окопы, привел связь на НП. Чабаров в свежевырытом ровике устанавливал стереотрубу.

– Где комбат?

– Спит вон наверху комбат.

Взлетела ракета на передовой, и Третьяков увидел: укрывшись с головой плащ-палаткой, выставив мокрые сапоги наружу, спал комбат за бруствером.

– Товарищ капитан! Товарищ капитан!..

Повысенко сел на земле, жмурясь от света ракеты, глянул мутными глазами, не соображая в первый момент. Зевнул до слез, вздрогнул, потряс головой:

– Ага... Привел связь?

Уже в темноте долго глядел на светящиеся стрелки циферблата.

– Где ж ты столько ездил? Тебя как по фамилии, Четвериков?

– Третьяков.

– Ага, Третьяков, верно. Тебя за смертью посылать.

Встал во весь рост, потянулся, зевнул с подвывом, просыпаясь окончательно.

– Орудийные окопы вырыли?

– Роят.

У Третьякова все еще стоял в ушах рев тракторов, а ноги как будто шли по вязкому чернозему. Только голова после всей этой бессонной ночи была легкая, ясная, и огромный в своей плащ-палатке комбат то близко был виден, то отдалялся в красноватый свет пожара.

ГЛАВА V

Несколько дней на этом участке велись вялые бои. Неубранное поле пшеницы между немецкими и нашими окопами все больше осыпалось от разрывов, черные воронки пятнили его. Ночами по хлебам уползала разведка: к немцам – наша, к нам – немецкая. И подымалась вдруг всполошная стрельба, начинали скакать ракеты, светящиеся пулеметные трассы секли по полю, осадисто и звонко ударяли минометы. И кого-то волокли по траншее в общий счет безымянных жертв войны, а он чертил по земле каблуками сапог, пожелтелыми пальцами уроненной руки.

В жаркий полдень вспыхнуло от снаряда хлебное поле. Вихревой смерч взметнулся, огонь погнало ветром, перебросило через окопы, и по всей передовой и на высотке, где с разведчиком и телефонистом сидел Третьяков на наблюдательном пункте, сменив командира батареи, осталась выжженная до корней трав земля, прах и пепел. Жирный чад горелого зерна пропитал все насквозь: и воздух, и еду, и одежду.

Когда, обойдя свой круг над многими полями сражений, в дым и пыль садилось в тылу у немцев отяжелелое солнце и под пеплом облаков остывал багровый закат, в небе уже высоко стоял месяц. Он наливался светом, холодно блистал над черной землей.

При зеленом его свете, глядя на свои руки, в которые въелась гарь, черной каймой окружала обломанные ногти, вспоминал иногда Третьяков, какие они отмытые были у него на болоте под Старой Руссой – кожа сморщенная, отмякшая, как после стирки. А станет переобуваться, чтоб хоть в голенище сапога подсушить край портянки, нога из нее – как неживая, как из воды нога утопленника.

Сколько сидели они тогда посреди болота на крохотном островке между нашим и немецким передним краем, огня не разводили ни разу, и все на них было сырое. А весна затяжная стояла в том, сорок втором году, холодная. На майские праздники повалил вдруг снег, крупными хлопьями при солнце понеслась косая метель, зарябило над хмурой водой, весь их островок стал белым. Потом еще зеленой заблестела вытаявшая из-под снега трава.

И не забыть, как среди ночи подскочил он от свистящего шепота: «Немцы!» Вышний ветер растянул облака, с вечера обложившие небо, вода смутно блистала. Весь сотрясаемый ознобной дрожью, зубом на зуб не попадая спросонья, больше всего в свои семнадцать лет боясь, что еще за труса сочтут, Третьяков вглядывался из-за бруствера и ничего не мог разглядеть. Только от напряжения, от холода слезы текли из глаз. Вдруг от кустов неслышно откач-

нулась волна. Еще одна. И пошли по воде, укачивая на себе лунный свет. Тень за тенью, без всплеска, из куста в куст – четверо. Только волна возникала и отделялась.

Там, в кустах, всех четверых положили из карабинов. И по молодой своей глупости полез он поглядеть на немцев: какие они? Что-то в самом себе хотел выяснить. Полез и едва не погиб: один из разведчиков оказался живой еще. На себе Третьяков притащил его и, когда перевязывал, уже слабевшего, покрывавшегося смертной испариной, с удивлением не находил в себе ни злобы к нему, ни ненависти, хоть немец этот только что в него стрелял.

Он до сих пор так и не выяснил для себя многого, но война шла третий год, и, что непонятно, стало привычно и просто. По своим законам текло время на войне: что было давно, иногда приблизится ясно, словно это вчерашнее, а самое долгое, самое нескончаемое то, что происходит сейчас. Казалось, он уже полжизни сидит на этой выгоревшей высоте, втянувшись в привычное фронтовое состояние, когда, спал – не спал, в любой час и спать готов и подхватиться по тревоге. И многое он знал уже про своих бойцов, сидевших с ним вместе. Младший, Обухов, рыжеватый и чернобровый, весь по смуглому лицу осыпанный коричневыми пятнами веснушек, в свои неполные восемнадцать лет воевал охотно. Все он посмеивался над связистом Суяровым, который больше, чем вдвое, был старше его: – Ты расскажи, расскажи лейтенанту, за что тебе срок впаяли?

И сам же начинал рассказывать, светя синеватыми белками глаз:

– Ему водку на нюх подносить нельзя. Он весь проспиртованный: грамм выпьет, за себя не отвечает. Сколько ты лет получил до войны?

Суяров пригнетенно отмалчивался. Было что-то ненадежное в нем, в его улыбке, временами искательной, обнажавшей черные от табака зубы. Но чаще он только мигал, когда разговор шел про него, и сосредоточенно сосал мокрую иссосанную сигарку, до синевы напиваясь табачным дымом. И почему-то неприятно было смотреть, как у него сам по себе вздрагивает, копошится обрубок безымянного пальца.

Когда уже обжились и на слух начали различать, откуда какая стреляет немецкая батарея, пришел приказ смотать связь, срочно возвращаться на огневые позиции. Сорвали плащпалатку, заменявшую вход, наспех переворошили сено на нарах, оглянулся Третьяков напоследок, и так вдруг жаль стало кидать эту тесненькую их землянку, словно с ней что-то от души отрывал. На фронте всегда так: место, где с тобой ничего не случилось, кажется уже особенно надежным.

Под высокой луной, светившей ярко, они ползали по обгорелой земле, сматывали провод. Немец постреливал беспокойно, одну за другой швырял ракеты. Когда весь ты на виду на голой земле распят, стрельба кажется ближе, и каждая ракета над тобой висает. Вспомнишь тут, как в окопе хорошо было сидеть, как безопасно.

За обратным скатом высоты, в низине, пошли в полный рост. Здесь, в сыром логу, трава была высокая, вся в росе, и Третьяков мыл об нее руки, умылся на ходу, отчего-то даже рассмеявшись. Он так свыкся с запахом гари, что перестал его замечать, а тут, на свежем воздухе, почувствовал, как весь он прокопчен насквозь.

Нагруженные катушками провода, лопаты, стереотрубу, все имущество и оружие неся на себе, они догнали батарею на марше. В сплошной пыли, поднятой ногами и колесами, двигались массы пехоты, перемещаясь вдоль фронта. Когда по траншеям, по окопам, по ямкам сидят поредевшие роты, кажется – и нет никого, и вроде бы воевать некому. Но когда вот так вывалит войско на дорогу – и конец его и начало, – все теряется в пыли, многолюдна Россия. Ведь третий год идет война, вновь по тем самым местам, где в сорок первом году столько осталось зарытых и незарытых.



Голубой луч прожектора беззвучно стриг в вышине, падал отсвет, в нем гуще клубилась пыль над людьми, колыхалась в пыли горбатая от ноши пехота. И возникало на миг: высокий, на голову выше всех пехотинец, в белой на свету пилотке, прижал к груди плоский котелок, хлебает из него на ходу; блеснуло смазкой вороненое длинное противотанковое ружье на плече у бронейщика, скуластое его лицо, узкие щелочки глаз. Луч сместился, и в темноте, задушив все запахи керосинной воню, промчались танки, облепленные по броне пехотинцами. Когда опять упал на грейдер отсвет прожектора, среди пехоты, втекавшей в рубчатый след танков, увидели впереди свою батарею: медленно двигались тяжелые зачехленные орудия. Перегрузив на них лишнюю ношу с плеч, пошли налегке.

Рассвет встретили в лесу. Где-то позади еще тянулись пушки, а его взвод управления, за ночь уйдя вперед, спал на земле. Прохладно грело осеннее солнце, опавшая листва была мокрой от ледяной росы. Сняв сапоги, расстелив на солнце портянки, Третьяков задремывал сидя, босые ступни его пригревало в затишке. Густо-синее небо над головой, желтые, шелестящие на ветру вершины деревьев плывут, плывут навстречу белым облакам... Он засыпал, просыпался... Пахло в лесу осенью, костром, вокруг костра спал его взвод. Над огнем, горевшим без дыма, – закопченное ведро. Боец помешивает в нем, пробует с ложки над паром. За неделю, что он в полку, Третьяков еще не всех запомнил в своем взводе, но этого бойца узнал. Плоское лицо маслено блестит от близкого жара, глаза сожмурены... Кытин! Фамилия сама выскочила: Кытин.

Огонь лизал сальное дымящееся ведро. Попробовав с ложки еще раз, Кытин засомневался, подумал, досолил и помешал. Гуще повалил из ведра мясной пар, захотелось есть.

– Ты чего варишь, Кытин?

Тот обернулся:

– Проснулись, товарищ лейтенант?

– Варишь, говорю, кого?

– Да бегало тут о четырех ногах... С рожками.

– А как оно разговаривало?

У Кытина глаза сошлись в щелочки:

– Бе-еэ, – проблеял он. – Давайте портянки к огню, товарищ лейтенант, теплыми надейте.

– Они на солнце просохли.

Размяв портянки в черных от копоти пальцах, Третьяков обулся, встал. По всему лесу, поваленная усталостью, спала пехота. Еще подтягивались отставшие, брели как во сне; завидев своих, сразу же валились на землю. И от одного бойца к другому бегала медсестра с сумкой на боку, смахивала слезы со щек.

– Один градусник был, и тот украли, – пожаловалась она Третьякову, незнакомому лейтенанту, больше и пожаловаться было некому.

Немолодая, лет тридцати, завивка шестимесячная набита пылью. Кому нужен ее градусник... воровать? Разбился или потерялся, а она ищет. И плачет оттого, что сил нет, этот пеший ночной марш проделала со всеми. Солдаты спят, а она еще ходит от одного к другому, будит сонных, заставляет разуваться, чем-то смазывает потертые ноги, чем-то присыпает: мозоль хоть и не пуля, а с ног валит. Вот кого Третьякову всегда жаль на войне – женщин. Особенно таких, некрасивых, надорванных. Этим и на войне тяжелей.

Он отыскал в лесу воронку снаряда, налитую водой. Вокруг нее лежали молодые деревца; какие-то из них, может быть, еще и оживут. Снял пилотку, шинель, стал на колени. Клок белого облака скользил по зеркалу воды, и в нем он увидел себя: кто-то, как цыган черный, глядел оттуда. Щеки от пыли, набившейся в отросшую щетину, темные; запавшие глаза обвело черным, скулы обтянуты, они шелушащиеся какие-то, шершавые. За одну неделю сам на себя стал не похож. Он отогнал к краю упавшие в воду сухие листья и водяного жука, скакавшего

невесомо на тонких паучьих ногах. Вода, как на торфянике, коричневая, но, когда зачерпнул в ладонь, прозрачна оказалась она, чиста и холодна. Давно он так не умывался, даже гимнастерку стянул с плеч. Потом, вытерши подолом рубашки и шею и лицо, надел пилотку на мокрые расчесанные волосы и, когда застегивал на горле стоячий воротник, чувствовал себя чистым, освеженным. Только пыль из легких никак не мог откашлять – столько он ее наглотался ночью.

Все это время над лесом подвывало с шуршанием в вышине: наша тяжелая артиллерия была с закрытых позиций, слала снаряды, и от взрывов осыпалась листва с деревьев.

Выйдя на опушку леса, он спрыгнул в песчаную, обрушенную во многих местах траншею и чуть на ноги не наступил пехотинцу, лежавшему на дне. Во всем снаряжении, подпоясанный, лежал тот, будто спал. Но бескровным было желтое его нерусское лицо, неплотно прижмуренный глаз тускло блестел. И вся осыпана землей остриженная под машинку черная круглая голова; уже убитого, хоронил его другой снаряд.

Третьяков отошел за изгиб траншеи. Тут тоже много зияло свежих воронок – и впереди, и позади, и прямые попадания, – огонь был силен. Этот грохот и слышали они на подходе.

Опершись локтями о песчаный бруствер, он рассматривал поле впереди. Оно стекало в низину, там перестукивались пулеметы, блестела, как стекло, мокрая крыша коровника, часовыми стояли пирамидальные тополя, заслонив собою синеватую вершину кургана. И ярко, нарядно желтел обращенный к солнцу клин подсолнечника.

Он смотрел в бинокль, соображал, как в сумерках, когда сядет солнце за курганом, потянет он отсюда связь в пехоту, если будет приказано туда идти, где лучше проложить провод, чтобы снарядом не перебило его. А когда уходил, наткнулся еще на одного убитого пехотинца. Он сидел, весь сползший на дно. Шинель на груди в свежих сгустках крови, а лица вообще нет. На песчаном бруствере траншеи кроваво-серые комки мозга будто вздрагивали еще. Много видел Третьяков за войну смертей и убитых, но тут не стал смотреть. Это было то, чего не должен видеть человек. А даль впереди, за стволами сосен, вся золотая, манила, как непрожитая жизнь.

Взвод его завтракал на траве, когда он вернулся. Стоял эмалированный таз, головами к нему лежали бойцы, зачерпывали по очереди, и всех их вместе гладил ветер по стриженным головам. Помкомвзвода Чабаров, скрестив ноги по-турецки, почетно сидел у таза. Завидев лейтенанта, стукнул ложкой, бойцы зашевелились, кто лежал, начал садиться.

– Ешьте, ешьте, – сказал Третьяков.

Но Чабаров строго глянул вокруг себя, и Кытин вытащил специально отставленный в горячую золу котелок, подал лейтенанту. Они были все вместе, свои, а он пока еще не свой. Постелив шинель под бок, Третьяков лег и тоже начал есть. Наварист был суп из молодого козленка, и мясо – сладкое, сочное.

– А что, товарищ лейтенант, – спросил Кытин, ласковыми глазами хозяйки, всех накормившей, глядя на него, – на нашем фронте и воевать можно?

И все заговорили о том, что лето не зима, летом вообще воевать можно, не то что в мороз или в талом снегу весной. Были они повеселевшие от еды. Огневики еще где-то тянутся со своими пушками или роют сейчас орудийные окопы, а они уже и поспать успели, и поели – вот это и есть взвод управления: разведчики, связисты, радисты. Он всю войну служил во взводе управления и любил его за то, что здесь свободней. Чем ближе к опасности, тем человек свободней душой.

Он смотрел на них, живых, веселых вблизи смерти. Макаю мясо в крупную соль, насыпанную в крышку котелка, рассказывал, к их удовольствию, про Северо-Западный фронт, мокрый и голодный. Закурил после еды, сказал Чабарову назначить с ним в ночь двух человек – разведчика и связиста, – и тот назначил Кытина и вновь Суярова, который знает – за что. И все это делалось, и солнце подымалось выше над лесом, а своим чередом в сознании проходило иное. Он все видел осыпанную снарядами песчаную траншею. Неужели только великие люди

не исчезают вовсе? Неужели только им суждено и посмертно оставаться среди живущих? А от обычных, от таких, как они все, что сидят сейчас в этом лесу, – до них здесь так же сидели на траве, – неужели от них от всех ничего не остается? Жил, зарыли, и как будто не было тебя, как будто не жил под солнцем, под этим вечным синим небом, где сейчас властно гудит самолет, взобравшись на недостижимую высоту. Неужели и мысль невысказанная, и боль – все исчезает бесследно? Или все же что-то остается, витает незримо, и придет час – отзовется в чьей-то душе? И кто разделит великих и невеликих, когда они еще пожить не успели? Может быть, самые великие – Пушкин будущий, Толстой – остались в эти годы на полях войны безымянно и никогда ничего уже не скажут людям. Неужели и этой пустоты не ощутит жизнь?

ГЛАВА VI

За полчаса до начала артподготовки Третьяков прыгнул в свой окоп. Дремал Кытин, подняв воротник шинели, затылком опершись о земляную стену; он приоткрыл глаза и опять закрыл. Суяров на корточках жадно насасывался махорочным дымом, сплевывал меж колен жидкую слюну. Узнав лейтенанта, из вежливости поколыхал рукою табачное облако над головой у себя.

В рассветном сумраке плоское лицо Кытина со смеженными глазами было точно монгольским. А сам он из-под Тамбова, из деревни. Вот куда предки его дошли убивать других его предков. А в нем обе эти крови помирились и не воюют друг с другом. Кытин зевнул, как щенок, показав все небо. Глаза влажные: похоже, правда спал.

Третьяков глянул на часы. Вот они, последние эти необратимые минуты. В темноте завтрак разнесли пехоте, и каждый хоть и не говорил об этом, а думал, доскребая котелок: может, в последний раз... С этой мыслью и ложку вытертую прятал за обмотку: может, больше и не пригодится. Оттого, что мысль эта в тебе, все не таким кажется, как всегда. И солнце дольше не встает, и тишина – до дрожи. Неужели немцы не чувствуют? Или затаились, ждут? И уже не остановить, не изменить ничего нельзя. Это в первые месяцы на фронте он стыдился себя, думал, он один так. Все так в эти минуты, каждый одолевает их с самим собой наедине: другой жизни ведь не будет.

Вот в эти минуты, когда как будто ничего не происходит, только ждешь, а оно движется необратимо к последней своей черте, ко взрыву, и уже ни ты, никто не может этого остановить, – в такие минуты и ощутим неслышный ход истории. Чувствуешь вдруг ясно, как вся эта машина, составившаяся из тысяч и тысяч усилий разных людей, двинулась, движется не чьей-то уже волей, а сама, получив свой ход, и потому неостановимо.

Все в нем было напряжено сейчас, а Суяров, на дне окопа кресалом высекавший огонь, смутился, увидев снизу, какое до безразличия спокойное лицо у лейтенанта: опершись спиной о бруствер, он рассеянно отбивал глину носком сапога, словно чтоб только не заснуть.

Ночь эту, остаток ее, Третьяков просидел в землянке у командира роты, которого ему предстояло поддерживать огнем. Не спали. В бязевой нательной рубашке, утираясь грязноватым, захватанным полотенцем, командир роты пил чай и рассказывал, как лежал он в госпитале, аж в Сызрани, какая хорошая женщина была там начмед.

Под низким накатом землянки глаза его освечивали покорно и мягко. Он слизывал пот с верхней бритой губы, шея была вся мокрая, пот вновь и вновь копился в отсыревших складках, а повыше ключицы, где глянцевою кожицей стянуло след страшной раны, заметно бился пульс, такой незащищенный, и временами что-то напухало.

Третьяков слушал его, сам говорил, но вдруг странно становилось, словно все это происходит не с ним: вот они сидят под землей, пьют чай, ждут часа. И на той стороне, у немцев, тоже, может быть, не спят, ждут. А потом как волной подхватит, и выскочат из окопов, побегут убивать друг друга... Станным все это покажется людям когда-нибудь.

Он выпил одну за другой три кружки чаю, пахнувшего от котелка комбижиром, и случайно в разговоре выяснилось, что этот полк и есть тот самый стрелковый полк, в котором служил отчим. Но только теперь номер его другой, потому что в сорок втором году в окружении осталось знамя и полк был расформирован и переименован. У матери хранилось письмо однополчанина; тот своими глазами видел, как убило отчима, когда прорывались из окружения, и написал ей. А все-таки надежда оставалась: ведь столько самых невероятных случаев было за войну. И, обманывая судьбу, боясь оборвать последнюю надежду, Третьяков спросил осторожно:

– Дядька у меня был в вашем полку. Командир саперного взвода, младший лейтенант Безайц... Под Харьковом... Не знал случайно?

Само так получилось, что сказал «дядька», словно бы это еще не про отчима, если скажет «убит».

– Безайц... Фамилия, понимаешь, такая... Ты вот кого спроси: Посохин, начальник штаба батальона, адъютант старший. Безайц... Должен помнить. А я под Харьковом не был, я только после госпиталя в этом полку.

В мае сорок второго года, когда началось наше наступление под Харьковом, так закончившееся потом, он послал отчиму из-под Старой Руссы восторженное мальчишеское письмо, писал, что завидует ему, что и они, мол, у себя тут тоже скоро...

А уже замкнулось кольцо окружения под Харьковом.

У матери так жалко дрогнуло лицо, когда она попросила его на вокзале: «Ты ведь там будешь, на Юго-Западном фронте... В тех самых местах... Может быть, хоть что-то удастся узнать про Игоря Леонидовича...»

Она всегда в его присутствии называла отчима по имени-отчеству и даже теперь постеснялась назвать иначе.

Впервые в нем что-то шевельнулось к отчиму, когда началась война и Безайца призвали. Втроем, с матерью и Лялькой, пошли они на сборный пункт, помещавшийся на проспекте, в Лялькиной школе. И он увидел, как все переменялось. Отчим ждал их, сидел прямо на тротуаре, спиной опершись о кирпичный столб школьных ворот. Инженер-конструктор, которого многие знали здесь, он в своем городе, словно в чужом, где его не знают и не запомнит никто, сидел прямо на асфальте, оперев руки об острые колени. Увидел их, идущих к нему, встал, равнодушно отряхнул штаны сзади и обнял мать. Высокий, худой, в хлопчатобумажной гимнастерке, в пилотке на голове, он прижал мать лицом к пуговицам у себя на груди и поверг ее головы, которой касался бритым подбородком, смотрел перед собой и гладил мать по волосам. И такой был у него взгляд, словно там, куда он глядел, видел уже все, что ее ожидает.

Поразило тогда, какие тонкие у него ноги в черных обмотках. И вот на этих тонких ногах, в огромных солдатских ботинках ушел он на войну. Все годы, что жили вместе, как квартиранта, не замечал он отчима, а тут не за мать даже, за него впервые защемило сердце.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.